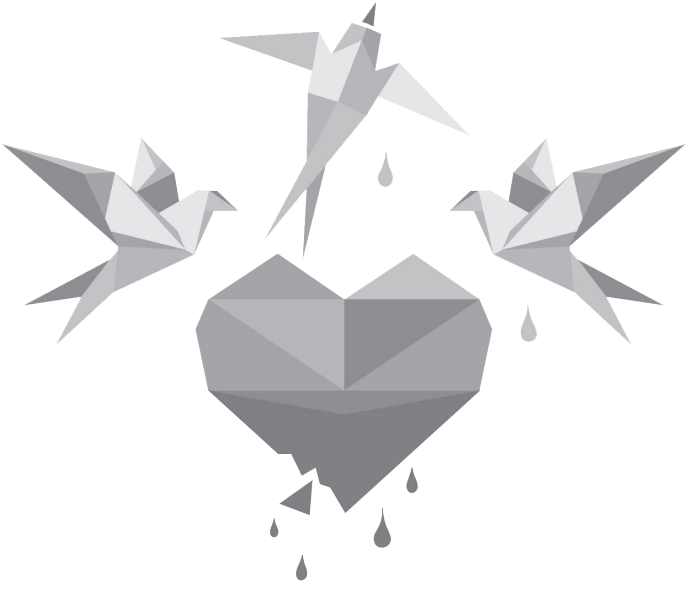
КАДЗУО ИСИГУРО

Не отпускай меня



Москва

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
И85

Kazuo Ishiguro

NEVER LET ME GO

Copyright © 2005 by Kazuo Ishiguro

Перевод с английского *Леонида Мотылева*

Художественное оформление обложки *Натальи Портяной*

Художественное оформление серии *Анастасии Зининой*

Исигуро, Кадзуо.

И85 Не отпускай меня / Кадзуо Исигуро ; [перевод с английского Л. Мотылева]. — Москва : Эксмо, 2026. — 352 с.

ISBN 978-5-04-248620-3

Англия, конец XX века. Кэти Ш. почти двенадцать лет работает помощницей: ухаживает за донорами, проходящими одну операцию за другой. Готовясь оставить эту работу, она вспоминает детство в Хейлшеме – интернате, где всё как будто устроено для блага воспитанников. Их учат беречь здоровье, заставляют рисовать и писать стихи. Лучшие работы забирает загадочная Мадам в Галерею, которую никто не видел. Что на самом деле скрывает школа?

Рядом с Кэти всегда были властная Рут и неловкий Томми. Учителя, которые то и дело замолкают на разговорах о будущем. Дружба, ревность и невыраженный страх связывают троих героев на годы вперёд. А вместе с ними растёт вопрос: что значит быть любимым и нужным, если твою судьбу решили за тебя?

Кадзуо Исигуро – лауреат Букеровской и Нобелевской премии по литературе. «Не отпускай меня» входит в список 100 лучших английских романов по версии журнала «Time».

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-248620-3

© Мотылев Л., перевод на русский язык, 2026
© Издание на русском языке, оформление. ООО « Издательство «Эксмо», 2026

Посвящается
Лорне и Наоми

Англия, конец 1990-х

Часть первая

Глава 1

Меня зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже одиннадцать с лишним лет как помогаю донорам. Долго, конечно, но мне было сказано, чтобы я проработала еще восемь месяцев — до конца года. Получится почти двенадцать лет. Теперь я понимаю, что меня, может быть, совсем не потому держат столько времени, что считают мои успехи фантастическими. Бывали отличные помощники, которым приходилось поставить точку всего через два-три года. С другой стороны, я знала одного, у которого это длилось полных четырнадцать лет, хотя он был настоящее пустое место. Так что я не ради хвастовства говорю. Но все-таки я точно знаю, что они довольны моей работой, и я сама в целом тоже довольна. Состояние моих доноров чаще всего бывало гораздо лучше ожидаемого. Реабилитация шла быстро, и почти никому не писали «возбужден» — даже перед четвертой выемкой. Согласна, сейчас уже, наверное, хвастаюсь. Но это очень много для меня значит — ощущение, что я хорошо делаю свое дело, особенно ту его часть, что должна помочь донору оставаться в категории «спокойных». У меня развилось какое-то внутреннее чутье по отношению к ним. Я знаю, когда надо подбодрить, побыть рядом, когда лучше оставить

одного; когда терпеливо выслушать, что он говорит, когда просто отмахнуться и сказать, чтобы переменил пластинку.

Так или иначе, я не считаю себя кем-то особенным. Я знаю помощников, они и сейчас работают и выполняют свои обязанности не хуже меня, но далеко не так ценятся. Можно понять, если кто-нибудь из них и завидует — моей однокомнатной квартире, моей машине, но в первую очередь тому, что мне позволяют самой решать, о ком я буду заботиться. Ко всему я еще и воспитанница Хейлшема — одного этого иногда хватает, чтобы на меня посмотрели косо. Эта Кэти Ш., говорят они, может выбирать кого захочет и выбирает только своих — воспитанников Хейлшема или какого-нибудь другого привилегированного заведения. Само собой, она на хорошем счету. Я наслушалась такого достаточно, а вы наверняка еще куда больше, и, может быть, своя правда тут имеется. С другой стороны, я не первая, у кого есть право выбора, и, думаю, не последняя. Как бы то ни было, разве я не отработала свое с донорами из всевозможных других мест? Не забывайте, что к тому времени, как я кончу, за плечами у меня будет двенадцать лет, и только последние шесть из них мне разрешают помогать кому сама захочу.

И правильно делают, по-моему. Помощники ведь не автоматы. С каждым донором стараешься изо всех сил, и под конец это может вымотать. Запас терпения и энергии истощается. Поэтому когда есть выбор, разумеется, выбираешь своих — это естественно. Разве я продержалась бы так долго без общности с донорами, без сочувствия к ним от на-

чала до конца? И, безусловно, не могла бы выбирать — не сблизилась бы снова, спустя годы, с Томми и Рут.

Но чем дальше, тем, конечно, меньше и меньше остается доноров, которых я знаю по прошлым годам, так что на практике я пользуюсь своим правом не слишком уж часто. Как я уже сказала, дело идет куда тяжелее, когда с донором нет хорошей внутренней связи, поэтому, хотя мне будет не хватать обязанностей помощницы, поставить точку в конце года будет, пожалуй, в самый раз.

Рут, между прочим, была только третьим или четвертым донором, которого мне разрешили выбрать. К ней уже была до этого приставлена помощница, и мне, помню, пришлось добиваться, чтобы Рут передали мне. Но в конце концов я это устроила, и едва я ее вновь увидела — в центре реабилитации в Дувре, — все, что нас разделяло, не то чтобы исчезло, но стало куда менее важным, чем другое — например, то, что мы вместе выросли в Хейлшеме, то, что мы знали и помнили такое, чего не знал и не помнил больше никто. Думаю, именно с тех пор я, чтобы выбрать донора и стать его помощницей, начала искать людей из моего прошлого, и прежде всего из Хейлшема.

Бывало за эти годы и так, что я пыталась оставить Хейлшем позади, говорила себе, что не надо все время оглядываться. Но потом всякий раз наступал момент, когда я переставала сопротивляться. К этому имеет отношение один донор, который был у меня на третьем году работы в качестве помощника. Точнее, его реакция, когда он узнал от меня, что я из Хейлшема. Он только что перенес

третью выемку — перенес тяжело и, должно быть, знал, что не вытянет. Он едва дышал, но посмотрел на меня и сказал: «Хейлшем. Там, наверное, было замечательно». На следующее утро, когда я разговаривала с ним, чтобы его отвлечь, и спросила, где вырос он сам, он назвал какое-то место в Дорсете, и его лицо, покрытое пятнами, сложилось в какую-то совсем новую гримасу. Я поняла, как ему не хочется таких напоминаний. Вместо этого он хотел слышать о Хейлшеме.

Так что я дней пять или шесть рассказывала ему все, о чем ему хотелось узнать, и у него на лице, хоть он и лежал весь скрюченный, проступала кроткая улыбка. Он расспрашивал обо всем — о большом и малом. Об опекунах, о личных сундучках для коллекций у каждого из нас под кроватью, о футболе, о раундерз[1], о тропинке, которая шла в обход главного корпуса и всех укромных мест, о пруде для домашних уток, о питании, о виде на поля туманным утром из окон комнаты творчества. Иногда он заставлял меня повторять снова и снова: об услышанном вчера спрашивал так, словно я ни разу еще про это не рассказывала. «А павильон[2] у вас был?.. А кто был твой любимый опекун?» Вначале я объясняла это медикаментами, но потом поняла, что голова у него достаточно ясная. Он хотел не просто слушать про Хейлшем, но *вспоминать* его, точно свое собственное детство. Он знал, что близок

---

[1] Раундерз — британская игра в мяч, напоминающая бейсбол и лапту. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Павильон — здесь: небольшое строение у спортплощадки, крикетного или футбольного поля, которое служит, в частности, раздевалкой.

к завершению, вот и требовал от меня, чтобы я все ему описывала, — хотел днем усвоить как следует, чтобы бессонной ночью среди всех этих изнурительных мук, когда обезболивающие не помогают, у него стиралась граница между моими и его воспоминаниями. Тогда-то я и поняла, по-настоящему поняла, как нам повезло — Томми, Рут, мне и всем остальным, кто с нами был.

То, что я встречаю на пути в своих разъездах, и теперь иногда напоминает мне Хейлшем. Скажем, поле, над которым стоит туман. Или, съезжая с холма, вижу вдалеке угол большого здания. Или даже просто взгляд падает на тополиную рощицу на взгорке — и думаю: «Неужели здесь? Нашла! Ведь правда же — Хейлшем!» Потом соображаю — нет, ошибка, невозможно — и еду дальше, мысли переходят на другое. Павильоны — вот что чаще всего привлекает внимание, я повсюду их замечаю. У дальней стороны спортивного поля — маленькое белое типовое строение, окошки в ряд необычно высоко, почти под самой крышей. Я думаю, таких очень много настроили в пятидесятые и шестидесятые — тогда же, вероятно, появился и наш. Когда попадается такой павильон, я смотрю на него и смотрю, пока можно, и однажды, наверное, дело кончится автокатастрофой — но все равно смотрю. Недавно дорога шла по пустынной местности в Вустершире, и у крикетного поля стоял павильон, который был так похож на наш, что я развернулась и проехала немного назад, чтобы посмотреть еще раз.

Мы любили наш павильон — может быть, потому, что он напоминал нам милые маленькие се-

мейные коттеджи на картинках в детских книжках. Помню, в младших классах мы упрашивали опекунов провести очередной урок не там, где обычно, а в павильоне. А ко второму старшему — нам тогда было двенадцать, шел тринадцатый — павильон стал местом, где можно было уединиться с лучшими друзьями, когда хотелось побыть подальше от остальных.

В павильоне спокойно помещались две компании и не мешали друг другу, а летом на веранде могла расположиться и третья. Но в идеале тебе с друзьями или подружками хотелось занять весь павильон, и часто из-за этого начинались разные маневры и споры. Опекуны то и дело напоминали нам, что решать эти вопросы надо цивилизованно, но на практике, чтобы твоя компания получила павильон на перемену или на свободное время, в ее составе должны были быть сильные личности. Я сама была не робкого десятка, но думаю, что мы так часто занимали павильон благодаря Рут.

Обычно мы рассаживались на стульях и скамейках — нас было пятеро, а если подключалась Дженни Б., то шестеро — и давали волю языкам. Такие разговоры только там, в уединении, и могли происходить: мы делились всякими волнениями и заботами, задушевная беседа вполне могла кончиться взрывом хохота или яростной перепалкой. Прежде всего это был способ немного расслабиться, выпустить пар в дружеском обществе.

В тот день, который я сейчас вспоминаю, мы стояли на табуретках и скамейках и глядели в окошки под потолком. Оттуда хорошо было видно северное игровое поле, где собралось для игры в футбол

десять-двенадцать мальчишек из второго старшего, как мы, и из третьего. Светило яркое солнце, но утром, наверное, прошел дождь: я помню, как на траве блестела грязь.

Кто-то из нас заметил, что не стоило бы таращиться так явно, но ни одна голова от окон не отодвинулась. Потом Рут сказала: «Он ничего не подозревает. Надо же — совсем ничего».

Услышав это, я бросила на нее взгляд — хотела увидеть, нет ли на ее лице следа неодобрения по поводу того, как ребята собираются поступить с Томми. Но секунду спустя Рут усмехнулась и сказала: «Идиот!»

И я поняла, что в глазах Рут и всей нашей компании замыслы мальчиков были чем-то довольно далеким от нас, одобрять или нет — такого вопроса не возникало. Мы не потому собрались у окон, что хотели порадоваться новому унижению Томми, а просто потому, что слыхали про сегодняшнюю затею и нам было немного любопытно, что из всего этого выйдет. Не думаю, что в то время мальчишеские дела занимали нас сильнее. Для Рут и девочек это были вещи, в общем, чужие, и для меня, скорее всего, тоже.

Или, может быть, я ошибаюсь. Может быть, уже тогда при виде Томми, который носился по полю, давая волю радости из-за того, что его опять берут в игру, что он опять покажет свой высокий класс, я почувствовала легкий укол боли. Точно помню, я заметила, что на Томми голубая тенниска, которую он приобрел в прошлом месяце на распродаже и которой очень гордился. Помню, подумала: «Он и правда дурак, что пошел в ней играть. Бедная тен-

ниска. И каково ему потом будет?» Вслух я сказала, не обращаясь ни к кому конкретно: «На Томми та самая тенниска. Его любимая».

Никто меня, похоже, не услышал: все смеялись, глядя на Лору, главную нашу клоунессу, которая знай себе изображала, как меняется лицо Томми, когда он бежит, машет, кричит, ведет мяч. Другие ребята кружили по полю в разминочном темпе, все их движения были нарочито расслабленными, а вот Томми взыграл не на шутку и носился во весь дух. Я сказала — теперь погромче: «Горе у него будет, если тенниска придет в негодность». На этот раз Рут услышала, но, кажется, решила, что и мне захотелось над ним поиздеваться: она вяло усмехнулась и произнесла на его счет что-то свое, ядовитое.

Потом мальчики перестали катать друг другу мяч и спокойно, мерно дыша, встали кучкой на грязной траве — ждали разбора игроков по командам. Капитаны вышли вперед — оба из третьего старшего, хотя всем было известно, что Томми играет лучше любого из них. Кинули монетку, кто будет выбирать первым, и капитан, которому повезло, поднял глаза на ребят.

— Гляньте-ка на него, — сказала одна из девчонок у меня за спиной. — Он совершенно уверен, что его возьмут в первую очередь. Только поглядите!

Что-то смешное в нем в тот момент действительно было, и думалось: да, если он и правда такой идиот, он заслужил то, что сейчас произойдет. Другие ребята делали вид, что им плевать на капитанский выбор, что им все равно, какими по счету они окажутся. Одни тихо переговаривались, другие перевязывали шнурки, третьи просто разглядывали

свои бутсы, вязнущие в грязи. Но Томми смотрел на старшего мальчика с таким энтузиазмом, словно его уже выкликнули.

Лора, пока шло распределение игроков, все время гримасничала — повторяла сменяющие друг друга выражения лица Томми: вначале радостный пыл, потом, когда выбрали четверых, а его еще нет, тревога и озадаченность и, наконец, когда он начал понимать, к чему идет дело, боль и отчаяние. Я, впрочем, смотрела на Томми и на Лору не оборачивалась. О том, чем она занята, я догадывалась по общему смеху и подзадоривающим репликам девочек. Потом, когда Томми остался один и мальчишки начали ухмыляться, я услышала голос Рут:

— Начинается. Внимание. Семь секунд, шесть, пять...

Она не досчитала. Томми громко завопил, а игроки, теперь уже смеявшиеся открыто, побежали к южному игровому полю. Томми сделал несколько шагов за ними — не знаю почему: то ли инстинкт подстрекал его погнаться и поквитаться, то ли он впал в панику из-за того, что его бросили одного. Так или иначе, он сразу остановился. Стоит, лицо багровое, смотрит им вслед. Потом раздались его вопли — бессмысленная смесь похабной ругани и угроз.

Припадков Томми мы к тому времени уже повидали много, так что мы спустились на пол и разошлись по павильону. Начали было разговаривать о чем-то еще, но Томми все время было слышно, и, хотя поначалу мы только пожимали плечами и старались не обращать на выкрики внимания, в конце концов — может быть, через целых десять минут по-

сле того, как мы в первый раз отошли от окон, — мы опять встали на табуретки.

Другие ребята уже совсем скрылись из виду, и вопли Томми теперь летели в разные стороны, а не в одну. Он бушевал, потрясал кулаками, посылал проклятия небу, ветру, ближайшему столбу забора. Лора сказала, что он, наверное, репетирует Шекспира. Какая-то другая девочка заметила, что при каждом выкрике он поднимает и отводит ногу, «как кобель, который делает по-маленькому». Я и сама обратила внимание на это движение ногой, но прежде всего мне бросилось в глаза то, что всякий раз, когда он с силой ставит ногу обратно, вокруг брызгами разлетается грязь. Мне опять пришла на ум его драгоценная тенниска, но он был слишком далеко, чтобы я могла увидеть, сильно ли она испачкана.

— Все-таки это немножко жестоко, — сказала Рут. — Так его заводить. Хотя, конечно, сам виноват. Научился бы собой владеть — оставили бы в покое.

— Нет, не оставили бы, — возразила Ханна. — Грэм К. такой же обидчивый, но они из-за этого только осторожнее с ним себя ведут. Над Томми издеваются потому, что он бездельник.

Тут все заговорили разом — о том, что Томми ни одной попытки даже не сделал проявить себя творчески, о том, что он ничего не выставил на весеннюю Ярмарку. Мне кажется, все в тот момент втайне желали, чтобы из корпуса вышел кто-нибудь из опекунов и забрал Томми. И хотя мы в этом очередном заговоре против Томми не участвовали вовсе, зрительские места мы, как ни крути, занимали

и теперь нам было немножко совестно. Но никто из опекунов не появлялся, и мы продолжали объяснять друг другу, почему Томми сам во всем виноват. Когда наконец Рут посмотрела на часы и, хотя время еще оставалось, сказала, что пора возвращаться в главный корпус, спорить никто не стал.

Томми, когда мы выходили из павильона, еще буйствовал. Корпус был слева от нас, а Томми стоял на поле прямо перед нами, и приближаться к нему необходимости не было. К тому же он смотрел в другую сторону и нас, судя по всему, не замечал вовсе. Тем не менее я отделилась от подруг, которые двинулись краем поля, и пошла к нему. Я знала, что это их озадачит, но все равно отправилась, хотя Рут шепотом настойчиво звала меня обратно.

Томми, как видно, не привык, чтобы к нему кто-нибудь подходил в такие минуты. Когда я приблизилась, он уставился на меня, смотрел секунду-другую, потом снова стал бушевать. И правда словно репетировал Шекспира, а я поднялась на сцену посреди монолога. Даже когда я сказала: «Томми, смотри, что с твоей замечательной тенниской. Всю заплескал», впечатление было, что он не слышит.

Поэтому я протянула руку и коснулась его локтя. О том, что он сделал в этот момент, другие подумали, что он нарочно, но я почти уверена, что нет. Он все еще размахивал руками, и откуда ему было знать, что я до него дотронусь? Как бы то ни было, он вскинул руку, отбил мою ладонь в сторону и ударил меня по щеке. Было совсем не больно, но я вскрикнула — и большинство девчонок позади меня тоже.

Тогда-то наконец Томми, кажется, осознал происходящее — увидел меня, других, себя со стороны,